



*Как прекрасно видеть в обычной, пусть самой скромной человеческой жизни увлекательный и даже поучительный сюжет для повествования. Особенно, когда этим даром обладает писатель. Таковым и был наделён Николай Хайтов – болгарский инженер-лесовод в Родопях, околдовывающих своей горной красотой.*

*На свет он появился 15 сентября 1919, а узаконенным признанным писателем (членом болгарского СП) стал в сорок лет – в 1959 г. Дорога туда была длинной и трудной.*

*Родился он в селе Яврово в очень бедной семье. В 1938 г., подрабатывая подёнщиной, сумел окончить среднюю школу в Асеновграде, а затем, сочетая с работой на стройках, учился в Софийском лесотехническом университете. После его завершения в 1943-м отслужил положенные годы в армии. И вот он лесовик. Охраняет и выращивает лес в тех же заповедных Родопях. Сердоболие к крестьянам с изъятými у них при социализме лесными наделами и погубило его. Разрешая им использовать срубленные для очистки леса засохшие деревья, он был обвинён в нарушении закона и приговорён к восьми годам строгого тюремного заключения с лишением права работать по специальности.*

*Позже приговор отменили, но два года он ходил в безработных. Как говорится, несчастье помогло – и он принялся писать очерки. В 1954 году ведущий болгарский журнал «Септември» опубликовал его первый очерк, высоко оценённый редколлегией и читателями. Последовало предложение дальнейшего сотрудничества в журнале. Ознаменовал его автобиографической повестью «Бес-*

*прецедентный случай». Затем первая изданная книга – сборник рассказов «Соперники» (1957г.) Следом – руководящие должности: редактор газеты «Народна култура», а с 1966 г. – журналов «Наша родина» и «Родопы», избрание членом совета правления СБП (с 1966 г.) и его секретарём (1966–1968 гг.). В период 1975–1977 гг. – Председатель столичного Совета культуры. В 1995 удостоен Димитровской премии за прозу и Национальной литературной премии «Йордана Йовкова». В 2000 г. награждён орденом «Стара планина», в 1997-м ему было присуждено звание академика Болгарской Академии наук.*

*30 июня 2002 г. на 83-м году жизни скончался от лейкемии.*

*Опубликован в серийном сборнике «Библиотека Болгарии» № 11, 1965 г. Из-во болгарской иностранной литературы.*

## Брезевский кудесник

Когда хлопнула входная дверь, я натянул на голову одеяло и притворился спящим: в гостинице, особенно в такой, как Девинская, вашим соседом может оказаться подвыпивший, громогласный, словоохотливый человек, который ни за что, ни про что отнимет у вас лучшие часы сна.

Он вошёл в номер, тяжело дыша. Значит, был не первой молодости, раз пятнадцать ступенек до второго этажа утомили его. Стукнули подкованные ботинки, щёлкнул выключатель, и скрипнула кровать. Я долго лежал без движения и только было собрался повернуться на другой бок, как из груди моего соседа вырвался вздох, взлетел на свинцовых крыльях и повис в полумраке номера – то был не вздох облегчения, а вопль души, усталой и подавленной.

Меня обдало холодным дыханием неясной тревоги. Я повернулся к соседу и в скудном свете улицы, проникавшем

сквозь узкие, старого типа окошки, заметил лежащие на столе пёстрый кушак и чалму.

Незнакомец понял, что я не сплю.

– Что, разбудил? – спросил он на сочном родопском диалекте.

Голос у него был тёплый и приятный, с какой-то бархатной мягкостью и до странности приглушённый, как будто незадолго до этого он кричал до изнеможения.

Я уставился на чалму и даже немного приподнялся. Это была туго намотанная чалма, небрежно оставленная на кушаке. Почувствовав моё недоумение, её владелец беспокойно завертелся в кровати, а потом кивнул в сторону чалмы, словно хотел завершить уже начатый разговор:

– Покончено с ней!.. Завтра утром куплю себе шапку-ушанку, а чалму на кушак пушу. Ежели не видел муллу в ушанке, приходи завтра утром на базар взглянуть! – тихо добавил он и засмеялся, но его смех внезапно оборвался, и в комнате наступила тягостная тишина.

Мулла в ушанке!.. Это может расшевелить даже спящего мёртвым сном.

Я спросил его, откуда он.

– Из села Брезе, зовут меня Асан Реджепов, мулла. Так звали... до сегодняшнего дня, до тех пор, пока мюфтия<sup>1</sup> не поставил на мне крест. Извёл меня этот Али, и так и этак ко мне подступал, и добром уговаривал, и стращал. Запустит пальцы в бородищу и наседает, под конец сдался: «Пропади пропадом, – говорит, – в геенну огненную, башка твоя дубовая! С таким, как ты, нельзя по-человечески, такого только обухом по голове!» Схватил я тогда его за бороду, и кабы не разняли нас...

Мулла завертелся, засопел.

---

<sup>1</sup> Мюфтия – высший мусульманский духовный сан.

– Ударил тебя, что ли?

– Он ударит, и я ударю – это не беда. Тут другое дело... И обух здесь ни причём. Только долго рассказывать, а тебе, видать, спится.

Я заверил его, что мне совсем не хочется спать.

– Дай-ка я тогда соберусь с духом! – ответил он, пошарил вокруг себя, чиркнул спичкой и закурил. Огонёк блеснул в его руках, на минуту осветил его лицо – широкое, с шишковатым лбом и длинной, по всей вероятности, побелевшей бородой.

– С духом соберусь, – повторил Асан-мулла и, глубоко затянувшись сигаретным дымом, начал рассказывать.

– Не только я – дед мой, дядя мой – все муллами были. Передавали Коран, как говорится, из рук в руки, пока не попал он ко мне... Министры, околийские начальники приходили и уходили, а я оставался. Царя прогнали, власть сменили... – всё по-иному стало, только я продолжал быть муллой. Никто не спрашивал, не допытывался, почему я мулла, наоборот, меня даже поставили главным – по-нашему атипом – над тремя брезевскими муллами, хотя те старше меня. Почему? Во-первых, потому, что я учёнее их, во-вторых, выпало мне счастье, мулловское счастье, которое прославило меня.

Однажды вечером, только я возвратился домой, в дверь постучался соседский мальчик и позвал меня к себе в дом. Там я застал двух крестьян – мужа и жену из Лисково, как можно было определить по узору на котомках. Женщина была под паранджой, а мужчина – хоть пиши с меня, моих годков, этак шестьдесят с гаком. Он молчал, а женщина: «Мулла, мулла, будь отцом-матерью...» И рассказала, что их единственный сын вдолбил себе в голову жениться на одной обещенной. Просили, ругались, до драки дело дошло – всё впустую. Вот и решили ко мне податься за помощью, чтобы дал парню амулетку, которая отвела б его от обещенной и приво-

рожила к той, что родителям по сердцу. «Давай, – говорю, – триста левов, подвергну душу свою терзаниям, авось, до утра свершится ворожба».

Пришёл я домой, лёг и проспал, как убитый, до петухов, а когда поднялся, приготовил амулетку: листок Корана с двумя сурами, три волоса из кошачьего хвоста да кусок мыла. Велел им зашить это в его куртку и указал на одну звёздочку в небе. «Как взойдет эта звёздочка, накройте сына курткой, и тогда, что ни пожелаете, сбудется!»

Свершилась ворожба, но я всё начеку был, потому как сам немало на своём веку от любви выстрадал и тягость разлуки испытал, и всё ждал, что вернётся лисковчанин за деньгами. И, действительно, пришёл он в одну из пятниц, только не за деньгами, а меня на свадьбу звать – покорился парень, согласился жениться на родительской избраннице.

Что там стукнуло в голову этому шалопаю – не ведаю, только смирился он. Отец его был мясоторговцем, покупал и продавал коров, ягнят и коз, ездил по сёлам от Персенка до Шабаницы и, где ни бывал, уж будто по секрету рассказывал, какой учёный мулла в Брезе. И весь этот тёмный люд решал: «К мулле-кудеснику!» Валом повалили, словно овцы к кормушке. У одного на подворье домовый завёлся – просит выжить, у другого девка чахнет и вянет – надо зелье от этого дать, муж жену бросил – молит вернуть его ей. Аж из Скалина пришла одна женщина – за амулеткой от половодья, чтоб огород не затопило.

Великомучеников на земле несть числа, особенно же больных. Вот они-то и шли ко мне за лечением. Ты, может, спросишь: не было ли недовольных, не возвращались ли больные за деньгами, когда ворожба не помогала? Так ведь те, что и без неё были бы здоровы, восхваляли аллаха, а умершие обратно не возвращаются. И в Коране сказано: «И

да свершится, что аллахом писано». К тому же мы, муллы, изо дня в день твердим, а люди, ещё не появившись на свет, знают, что обязанность муллы – молиться, а уж дело аллаха исполнять мольбы. Исполнит – так исполнит, а ежели нет – такова его воля.

Так и оставался бы я муллой до самой смерти, кабы не пришлось, как у нас говорят, кроту солнце узреть. И ещё какое солнце! Опалило не лицо – самое сердце!..

Асан-мулла замолчал, и в тишине слышалось только его учащённое дыхание. Я потянулся к окошку, распахнул его, и в комнату вдруг ворвалась напоённая ароматом первоцвета холодная свежесть первых весенних ночей.

– Пусть малость холодком обдаст, – сказал он. – Дома я привык спать во дворе. Подкачу диканю<sup>1</sup> под навес, брошу из неё кошму и – готова постель. Звёзды тебя убаюкивают, ветер тебя ласкает, птахи насвистывают... Лишь бы ко сну охота была. Я же с некоторых пор, правду тебе сказать, глаз сомкнуть не смею. Только смежу веки – тут как тут передо мной бедняжка – молодуха из Скалино. Себериной её звали, а может, Фатминой или Сейфиной – когда люди ради такого дела приходят, как она, своих имён не называют. Привела её односельчанка, которой я дал амулетку от половодья. «Веду, говорит, тебе, эту детинушку, чтоб дал ты ей амулетку от дурного глаза, чтоб, когда повстречалась с ним, осталась для него невидимой. Можешь?» – «Как же, говорю, целую реку укротил, а тут перед сглазом отступлю? Будь то дурной глаз, будь змеиный, с моей амулеткой ей ничто не грозит. Дайте мне десять левов, а через два часа приходите за амулеткой!»

Молодуха сунула руку за пазуху, но денег не обнаружила. Испугавшись, что, должно быть, потеряла их, она стала ощупывать себя – ищет тут и там; паранджа сползла с её головы

---

<sup>1</sup> Диканя (турец.) – сельскохозяйственное орудие для молотьбы.

и открыла лицо ... Такое чудо, ага,<sup>1</sup> не часто встретишь, а уж коли встретишь, то не к добру! Словно вся она была не из костей и мяса, а из парного молока и гвоздики. Лицо, как у иконы, продолговатое, ротик не больше монетки, косы русые, в руку толщиной, а глаза – таких глаз на этом свете не бывает – чистые, задумчивые, словно росой омытые. Синие они были или зелёные не помню; видел я её – сколько до трёх сосчитать, она тут же закрылась паранджой и двинулась к выходу. Так и не дала мне денег, а я и не требовал.

Направилась она к выходу, но прежде чем порог перешагнула, – какой сатана меня дёрнул! – окликнул я её. Не для худа! Случалось, мне сидеть в поле в летний зной. Ни ветерка, ни облачка, но вдруг – откуда ни возьмись – обдаст тебя вдруг прохладой, словно языком лизнёт, и снова жара. Так и в этот раз: будто ветер налетел на меня неожиданно-негаданно, окликнул я её, чтоб отрезать прядку волос... для ворожбы. Что мне далась эта прядка – сам не знаю. Пушинка, клочок облака... Развеяло облако, прояснилось небо, а пушинка лежит в сафьяновом мешочке, под подушкой. Посмотришь на него, погладишь и почувствуешь, что и жара была, и облако было, что всё это не сон.

Мой собеседник закашлялся резким кашлем заядлого курильщика, и этот внезапный кашель долго душил его. Не вставая, он захлопнул окошко и некоторое время оставался неподвижным. Должно быть, отдыхал, а может, созерцал ... белое облако.

Из двухэтажного дома напротив слышались звуки скрипки. Скрипач, поднявшийся спозаранок, неторопливо повторял сольфеджио. «Си-ля-си-ля- а-а, си-ля-си-ля-а-а», – робко на-

---

<sup>1</sup> Ага́ (осман. от пратюрк. ака – старший) – у мусульман уважительная форма обращения к старшему по возрасту или же к знатному, титулованному лицу.

страивал он скрипку, не смея отклониться ни на йоту ни вверх, ни вниз. Не торопился и Асан-мулла. А может, не решался.

– Ну, а дальше что, ага Асан?

– Дальше, разверзлись небеса и прихлопнули агу Асана, – вздохнул он. – Через неделю, а может, и больше – счёт дням не вёл – пронеслось по селу, что Эмин Ежов из Скалина жену топором зарубил. А огородница при мне называла Себерину Ежовихой.

Весь день ходил я, как громом поражённый. На другой день, словно подстегнул меня кто, отправился я – будто пчелиный рой покупать – в Скалино, чтоб своими глазами всё увидеть. И оказалось вот что: муж – который был на два с лишком десятка лет старше её – застал Себерину с любовником на сеновале. Нашли её – лежит навзничь, с расколотой головой, а левая рука за пазухой. В ней амулетка зажата... Видно, надеялась уберечься от дурного глаза, от мужней ревности.

Так и увяла былинка.

И тогда, ага, вышел крот на солнце! Вышел, осмотрелся и увидел, что подрезал корень у погибшей былинки. И лишь аллах знает, сколько таких былинки было – ведь через руки мои прошла не одна, не две... Прошли и не вернулись...

Как возвратился я в село – не помню: шёл напропалую через лес, по скалам – без тропы, без дороги. Боялся встретиться с людьми. Всё казалось мне, что, увидев меня, они бросятся за мной с камнями и криками: «Держите этого, что сгубил молодуху!» Не знал, что мне не людей бояться надо, а самого себя.

Добрался я до своего села, ободранный, разбитый, подавленный. Постелил себе на дикане и лёг спать, но сон не шёл; какой-то ком подступил к горлу – жёсткий, колючий. Долго вертелся я – со спины на живот, с боку на бок – ком не проходил, только перекатывался, словно в пустом бочонке. Даже



сердце занялось, слёзы подступили: «Ежели я в кротовой норе рождён, ежели я слеп по природе и не вижу – гвоздика ли, пшеница ли золотая, или пионы вянут по следам моим, так аллах-то куда смотрел? Почему не скрючил мне руку, когда я давал молодухе вместо опоры костыль подгнивший? Почему не закидал меня камнями? Молнией не поразил? Если справедлив аллах, кому я шестьдесят два года поклоны отбивал, так что колени рубцами покрылись, то почему он этого не сделал? Почему?»

Лишь на рассвете я задремал, и в полудреме явилась мне Себерина. Она подплыла медленно, как будто на голове держала яблоко, остановилась и склонилась ко мне. Её косы коснулись моей шеи, пушистые, сияющие, словно золото, душистые, мягкие, и – во сне ведь не знаешь стыда – я посягнул погладить их. И там, где пробор прямой белой дорожкой, делил её волосы, ощутил... рану. Я отпрянул, но косы, обвившись вокруг моей шеи, стали душить меня. Я замычал, заметался и, лишь когда ударился головой о землю, пришёл в себя. И больше не сомкнул глаз. Ни в эту ночь, ни на следующую. Приходили люди, что-то говорили, уходили, но для чего приходили и что говорили, я знаю столько же, сколько и ты.

Извела меня бессонница, стал я вроде тряпки – той самой ветоши, которой наши бабы печь выметают, когда хлеб пекут, и было мне всё равно – жар сгребать или в грязном ведре полоскаться.

На третий день не выдержал я и отправился на Бузиновый камень – аллаха вызывать, вопрошать его!

Бузиновый камень высоко, в лесу. Взобрался я на скалу и закричал, словно сумасшедший, чтоб он снизошёл, со мной расквитался. Такие богохульства изрыгал, что, если б и вправду существовал аллах, от Асана-муллы мокрого места не осталось бы. Кипятился, сыпал проклятиями. Под конец

даже небо не выдержало: загредел гром, засверкали молнии, и дождь полил, как из ведра, так что каждый ноготок мне отмыло...

Там, на скалах, просидел я до вечера. Дождь перестал, прояснилось небо, но я всё продолжал сидеть. Думал и передумывал всю ночь, пока утренний холодок не прояснил мне мозги, и решил я распрощаться с аллахом. Не хотел я больше возвращаться в кротовую нору, подгрызать корень за корнем – за десятку. Не желал больше впустую драть глотку с минарета!

И тогда – о, ага! – произошло чудо: зашумели деревья, запели птицы, всё вокруг озарило утреннее солнце, и мне так вдруг захотелось спать, что я проснулся лишь тогда, когда до захода оставалось не больше двух стрекал.

Нынче утром пришёл я к мюфти и сказал, что прошу освобождения от сана. И всё бы обошлось мирно и тихо, если бы бородатый не разорался, что, мол, ждёт меня на старости лет голодная смерть, что на том свете гореть мне в адском огне и чего ещё только не наговорил.

Только ведь и я из той породы буйволов, которые, если потянут соху, не останутся, хоть в щепки разлетись. Как только рассветёт – вернусь в село! Поднимусь на минарет и закричу оттуда, что Асан-мулла не желает больше быть муллой. К дьяволу молитвы, рамазаны, курбаны, аллаха и его пророка! Не хочу больше вприщурку на солнце смотреть и глазеть на людские пупы!

Асан-мулла замолчал, не проронив больше ни слова. Окошко давно уже посветлело. В его верхнем правом квадрате отчётливо вырисовывалась белая от цвета яблоневого ветка и птица на ней – красношеяя птица, которая чирикала свою предутреннюю песню в таком опьянении и забытии, словно впервые встречала новый день.